Виноград растет на крутой горе, не похожей на Арарат.
Над приморским городом в сентябре виноград растет, виноград.
Кисло-сладкий вкус холодит язык — земляники и меда смесь.
Под горой слепит золотая зыбь, и в глазах золотая резь.

Виноград растет на горе крутой. Он опутывает стволы,
Заплетаясь усиком-запятой в буйный синтаксис мушмулы,
Оплетая колкую речь куста, он клубится, витиеват.
На разломе глинистого пласта виноград растет, виноград.

По сыпучим склонам дома ползут, выгрызая слоистый туф,
Под крутой горой, что они грызут, пароходик идет в Гурзуф,
А другой, навстречу, идет в Мисхор, легкой музыкой голося,
А за ними — только пустой простор, обещанье всего и вся.

Перебор во всем: в синеве, в жаре, в хищной цепкости лоз-лиан,
Без какой расти на крутой горе мог бы только сухой бурьян,
В обнаженной, выжженной рыжине на обрывах окрестных гор:
Недобор любезен другим, а мне — перебор во всем, перебор.

Этих синих ягод упруга плоть. Эта цепкая жизнь крепка.
Молодая лиственная щепоть словно сложена для щипка.
Здесь кусты упрямы, стволы кривы. Обтекая столбы оград,
На склерозной глине, камнях, крови — виноград растет, виноград!

Я глотал твой мед, я вдыхал твой яд, я вкушал от твоих щедрот,
Твой зыбучий блеск наполнял мой взгляд, виноград освежал мне рот,
Я бывал в Париже, я жил в Крыму, я гулял на твоем пиру
И в каком-то смысле тебя пойму, если все-таки весь умру.

Блажен, кто белой ночью после пьянки,

Гуляя со студенческой гурьбой,

На Крюковом, на Мойке, на Фонтанке

Хоть с кем-нибудь, - но лучше бы с тобой,

Целуется, пока зарею новой

Пылает ост, а старой тлеет вест

И дух сирени, белой и лиловой,

О перехлест! - свирепствует окрест.

...Век при смерти, кончается эпоха,

Я вытеснен в жалчайшую из ниш.

Воистину - все хорошо, что плохо

Кончается. Иначе с чем сравнишь?

На самом деле мне нравилась только ты,
мой идеал и мое мерило.
Во всех моих женщинах были твои черты,
и это с ними меня мирило.

Пока ты там, покорна своим страстям,
летаешь между Орсе и Прадо, –
я, можно сказать, собрал тебя по частям.
Звучит ужасно, но это правда.

Одна курноса, другая с родинкой на спине,
третья умеет все принимать как данность.
Одна не чает души в себе, другая — во мне
(вместе больше не попадалось).

Одна, как ты, со лба отдувает прядь,
другая вечно ключи теряет,
а что я ни разу не мог в одно все это собрать —
так Бог ошибок не повторяет.

И даже твоя душа, до которой ты
допустила меня раза три через все препоны, —
осталась тут, воплотившись во все живые цветы
и все неисправные телефоны.

А ты боялась, что я тут буду скучать,
подачки сам себе предлагая.
А ливни, а цены, а эти шахиды, а роспечать?
Бог с тобой, ты со мной, моя дорогая.

Не во гневе, а так, между прочим

наблюдавший средь белого дня,

когда в ватниках трое рабочих

подмолотами били меня.

И тогда не исполнивший в сквере,

где искал я забвенья в вине,

чтобы эти милиционеры

стали не наяву, а во сне.

Это ладно, всё это детали,

одного не прощу тебе, ты,

блин, молчал, когда девки бросали

и когда умирали цветы.

Не мешающий спиться, разбиться,

с голым торсом спуститься во мрак,

подвернувшийся под руку птица,

не хранитель мой ангел, а так.

Наблюдаешь за мною с сомненьем,

ходишь рядом, урчишь у плеча,

клюв повесив, по лужам осенним

одинокие крылья влача.

Осыпаются алые клёны,

полыхают вдали небеса,

солнцем розовым залиты склоны -

это я открываю глаза.

Где и с кем, и когда это было,

только это не я сочинил:

ты меня никогда не любила,

это я тебя очень любил.

Парк осенний стоит одиноко,

и к разлуке и к смерти готов.

Это что-то задолго до Блока,

это мог сочинить Огарёв.

Это в той допотопной манере,

когда люди сгорали дотла.

Что написано, по крайней мере

в первых строчках, припомни без зла.

Не гляди на меня виновато,

я сейчас докурю и усну -

полусгнившую изгородь ада

по-мальчишески перемахну.

Не покидай меня, когда

горит полночная звезда,

когда на улице и в доме

всё хорошо, как никогда.

Ни для чего и ни зачем,

а просто так и между тем

оставь меня, когда мне больно,

уйди, оставь меня совсем.

Пусть опустеют небеса.

Пусть станут чёрными леса.

пусть перед сном предельно страшно

мне будет закрывать глаза.

Пусть ангел смерти, как в кино,

то яду подольёт в вино,

то жизнь мою перетасует

и крести бросит на сукно.

А ты останься в стороне -

белей черёмухой в окне

и, не дотягиваясь, смейся,

протягивая руку мне.

Плюшевый оранжевый медвежонок на одеяле в зелёную клетку -

Так редко

тебя можно видеть и гладить по яркому плюшу,

впрочем эта игрушка

существует в сознании ровно столько, сколько я обращаю внимания

на многоточие или на этикетку бутылки вина или на то, что с

тех пор, как Позволено это помнить, мы живы.

есть эффект застывания времени в цепи случайностей, кроме,

разумеется, Шивы,

окружающих каждого, даже меня,

поэта, в сиянии судорог ночи -

в таких игрушках дети рабочих

разбираются лучше, чем вы или я.

Девочка смотрит в разбитые стекла,

от слёз тетрадка совсем размокла.

приходят подруги, зовут гулять...

девочке хочется спать.

она одевает ночную рубашку

(за ней наблюдают, глаза нараспашку,

медведи, куклы, сиамский кот)

на улицах ветер целуется в рот

с пьяными шлюхами, их сутенёры

пьют фиолетовые ликёры.

дети трахаются в подвалах,

в простуженных танцевальных залах

старшеклассники хлещут портвейн,

слушают амбиент или хардкор,

рассказывают всякий вздор.

Думают мир в кармане

(запатентованный миф)

венозной кровью в глубокой ране

прячется финский залив.

Эту грязь, вылитую на современников оправдают,

и даже добавят

чувство вины, вокзал и тот самый

проспект, упомянутый в тысячах сочинений,

рекламы нажравшийся,

в универсамы блюющий.

Моё поколение

это тираж малобюджетного фильма. О, наркотический бум девяностых,

бывший всего лишь началом, просто

началом малобюджетного фильма,

время в котором (читай внимательно) не растворилось, а только застыло...

в общем-то текст оказался про это

Смотрите, как для поэта

вечность танцует стриптиз.

Мне жаль что тебя не застал летний ливень

В июльскую ночь на Балтийском заливе

Не видела ты волшебства этих линий.

Волна, до которой приятно коснуться руками

Песок, на котором рассыпаны камни

Пейзаж, не меняющийся здесь веками.

Мне жаль что мы снова не сядем на поезд

Который пройдёт часовой этот пояс

По стрелке которую тянет на полюс.

Что не отразит в том купе вечеринку

Окно где всё время меняют картинку

И мы не проснёмся наутро в обнимку.

Поздно ночью через все запятые дошёл наконец до точки

Адрес, почта не волнуйся я не посвящу тебе больше не строчки

Тихо звуки по ночам до меня долетают редко

Пляшут буквы я пишу и не жду никогда ответа.

Мысли-рифмы свет остался остался звук остальное стёрлось

Гаснут цифры, я звонил чтобы просто услышать голос

Всадник замер, замер всадник реке стало тесно в русле

Кромки-грани, я люблю не нуждаясь в ответном чувстве.

Лестница здесь, девять шагов до заветной двери,

А за дверями - русская печь и гость на постой.

Двое не спят, двое глотают колёса любви -

Им хорошо, станем ли мы нарушать их покой?

Час на часах, ночь, как змея поползла по земле,

У фонаря смерть наклонилась над новой строкой.

А двое не спят, двое сидят у любви на игле -

Им хорошо, станем ли мы нарушать их покой?

Нечего ждать, некому верить, икона в крови,

У штаба полка в глыбу из льда вмёрз часовой.

А двое не спят, двое дымят папиросы любви -

Им хорошо, станем ли мы нарушать их покой?

Если б я знал, как это трудно уснуть одному,

Если б я знал, что меня ждёт, я бы вышел в окно.

А так - всё идет: скучно в Москве и дождливо в Крыму,

И всё хорошо, и эти двое уснули давно.

Темной тропой домой,

По светлой тропе к тебе.

Тихо все за спиной,

Спрятался домовой,

Дремлет в печной трубе

Знать бы где спрятан клад,

Сразу поднимешь взгляд,

Выпустишь стрелы в цель.

Кто тебя обвинит

В том, что опять гремит

Первой грозой апрель?

То, что сказал немой,

Так и умрет со мной.

Проводом на столбе,

Только глаза закрой,

Воет мой домовой

Волком в печной трубе

Что потерял в лугах,

Молится лбом в ногах,

Просит ее ласкать.

Ягоды тянут вниз,

Вот и цветы сплелись

Радугой в волосах.

Там, где лесов края,

Бродят мои друзья

Марья, Иван-да-Чай.

Облако на небе,

Я говорю тебе

Слово свое «прощай".

мне сказали
что ты меня все еще любишь
что ты звонишь
когда меня нету дома
читаешь мои любимые книги
чтобы быть внутренне ближе
ходишь за мной по пятам
в офисе и магазине
к знакомым
говорят, тебя даже видели рядом со мной
весной
на гриле
далеко за городом
и даже на конференции по недвижимости в париже

и это
несмотря на то
что мы друг с другом практически не говорили
и по известным причинам
я в ближайшем будущем тебя, как мне кажется, не увижу
хочешь узнать почему?
потому что на мокрой дороге в ригу
тебя разорвало, размазало, разбросало
и перемешались в единую массу волосы, мясо, кости
и какое-то даже сало
и отдельно лежала оскаленная голова
потому что я был на похоронах
как положено
покупал цветы
потому что
два года уже мертва

но
может быть, это все-таки правда
потому что какой-то странный
травянистый запах
бывает в ванной
ранним утром
я иногда захожу на кухню
там
внезапно
вымыты все тарелки
и накурено
и съедена вся халва﻿

я выхожу купаться в пасмурную погоду

опускаю белые ноги в стальную воду

над моей головой - зелёные листья на фоне серого неба

мне кажется, я никогда здесь не был

в тишине протекают дни, беззвучно проходят сутки

иногда на озеро падают с плеском утки

и в лесу дребезжит по утрам королевская почта

красный ее драндулет трясётся на каждой кочке

слово длится внутри, как пасмурный день в середине лета

задаёшь вопрос и даже не ждешь ответа

только мокрые пальцы катают в кармане труху и нитки

жизнь тычет по чужой земле с быстротой улитки

никогда никакое из мест не будет, как это место

я иду домой и сажусь у порога в сырое кресло

все есть жизнь, только ветер бросает на крышу сухие ветки

только крики на том берегу, только треск полов и шаги соседки

так любой, кто оставил родные места, иногда попадает в эти

как бы входит входит в дом, где собрано все?, что на этом свете

в день, где тысяча лет ходьбы от порога до озера,

так что и эти мысли,

стары, как мир, ожидающий вечной жизни

ночью было тепло

приснилась Святая Земля

какие-то неизбежные склоки

вокруг собственности в Хевроне

(а тебя там не было

ты осталась в Москве и не снилась

потому я чувствовал себя неуверенно

всё время хотелось уйти)

потом в Иерусалиме

во время очередного собрания

стало невмоготу и я вышел во двор

и в автомате у входа выпил фанты

проснулся с этим вкусом

ещё хотелось жареных пирожков с картошкой

чего-нибудь с горькой травой

и хотелось фанты

купил двухлитровую бутылку

и выпил

не то

Не своей природой сучковатой,
не стволами, ослабшими враз –
ветви опять удержаны чем-то:
так бы фразы – крепенько – ухватить.

Чуть погода задевает слово –
раздаётся пугающий треск:
сказанный полдень выбит из почвы,
сможет ли к безвременью – прирасти?

Что прозрачно рухнуло на землю?
Поднимай бедолагу, весна.
В позднем снегу темнеют ушибы,
а упавший с облака – невредим.

Потепленье по земле не ходит –
спотыкается чаще людей:
сверху торчат корявые ветви,
воткнутые в рыхлую высоту.

“Волне”

Внезапно падает чайка –
перья подсвечены зарёй.
А крылья что тяготило?
Двери с шипеньем открой.

Не примешь, вытолкнешь птицу:
входа под воду для крыла
пока не сделано – или
водная дверца мала?

Прилив протрётся о камни,
вспенятся дыры, в глубину
уйдут, и всякое тело
встретят (но прежде – весну?)

Ведь только так погруженье
может с душой произойти:
потрись волна, о безбрежный
камень в рассветной груди.

Грибник окликнет пару гласных,
а если обернутся они
на призыв такой, то устремятся,
спотыкаясь о вечерние пни.

Как убедить родные буквы
в твоих словах – остаться навек,
если тот плутающий схватился
за открытый звук, понятный траве?

Пускай звучание поможет –
и человек сквозь чащу пройдёт
к дальнему прибрежному просвету
(а кого ещё так долго зовёт?)

А после – гласные вернутся
к тебе: так бесконечен возврат
от спасённых человеков – к слову;
… а иная вечность будет навряд.

Влюбленные смотрят друг другу в глаза, но не видят тебя,
а видят куски мешковины и куклу из тряпок.
— Посмотри на меня! — Я совсем не твоя судьба,
я товарищ тебе, твой любовник, цветок и собака.

…Кстати, о собаке. Когда я ложусь спать и выключаю свет,
она стоит внизу у кровати, там, в темноте,
и терпеливо ждет, когда я ей дам команду: — Иди сюда.
(Она очень воспитанная собака).
И вот я говорю: иди ко мне! — и она начинает прыгать, прыгать, как оглашенная,
цепляясь передними лапами за кровать, вытягивая морду,
подрагивая невидимыми миру ушами,
карабкаясь и срываясь.

Она так отчаянно хочет выбраться ко мне из этого мрака,
так хочет забраться сюда, под защиту, в привычную жизнь, на подушку, в родное тепло,
что мне вдруг начинает казаться, что это другой мрак
и другие прыжки…

Как будто я зову ее из тьмы, она прыгает, прыгает
и когда-нибудь не допрыгнет.

Когда бы я как Тютчев жил на свете
и был бы гениальней всех и злей —
о! как бы я летел, держа в кармане
Стромынку, Винстон, кукиш и репей.

О как бы я берег своих последних
друзей, врагов, старушек, мертвецов
(они б с чужими разными глазами
лежали бы плашмя в моем кармане),
дома, трамваи, тушки воробьев.

А если б все они мне надоели,
я б вывернул карманы и тогда
они б вертелись в воздухе, летели:
все книжки, все варьянты стихтворений,
которые родиться не успели
(но даже их не пожалею я).

Но почему ж тогда себя так жалко–жалко
и стыдно, что при всех, средь бела дня,
однажды над Стромынкой и над парком,
как воробья, репейник и скакалку,
Ты из кармана вытряхнешь — меня.

Так неужели
я никогда не посмею
*(а кто, собственно,
может мне здесь запретить,
уж не вы ли, мои драгоценные,
уж не вы ли)* —

признаться:

ну были они в моей жизни, были,
эти приступы счастья,
эти столбики солнца и пыли
*(все постояли
со мной в золотистой пыли)*,

и все, кто любили меня,
и все, кто меня не любили,
и кто никогда–никогда не любили —
ушли.

В тот год, когда мы жили на земле
(и никогда об этом не жалели),
на черной, круглой, *выспренной* — в апреле
ты почему–то думал обо мне.

Как раз мать–мачеха так дымно зацвела,
и в длинных сумерках я вышел из машины
( она была чужая, но была!)…
…И в этот год, и в этот синий час —
(как водится со мной: в последний раз )
мне снова захотелось быть — любимым.

Но я растер на пыльные ладони
весь это первый, мокрый, лживый цвет:
*того, что надо мне, — того на свете нет,
но я хочу, чтоб ты меня — запомнил…*

— Ведь это я, я десять раз на дню,
катавший пальцами, как мякиш или глину,
одну большую мысль, что я тебя люблю,
(хоть эта мысль мне — невыносима),
стою сейчас — в *куриной слепоте*
(я, понимавший все так медленно, но ясно)
в протертых джинсах,
не в своем уме.

…в тот год, когда мы жили на земле —
на этой подлой, подлой, но — прекрасной.

ЕМЕЛЕ

нашу жизнь над бубликом колдовали
нашу жизнь на публику цифровали
и фривольное наше письмо едва ли
разберут на цитаты

я бывал в индии, афанасий,
я бывал где вынь да положь деньгу
ни хрена себе рифма
носил серьгу
и ходил в солдаты

а еще я любил тебя восковая
что неласковая вставая
а в ночи недобрая
и
кривая
выводила куда ты

мы считали барышень барышами
овладели мышью и малышами
мы лежали сами себе с ушами
в одном – караты

все больше седины и странное случилось
все меньше правоты все кружится больней
отечество мое где у дороги чивас
где так не страшен черт, как дед его корней

все меньше тишины и в межсезонье шины
не оставляют след не путают следа
а топкой родины когда болит брюшина
и как в последний хлюпает вода

а что не доживу тогда ребята
пускай стучат пустым по полному стеклу
пускай они сидят до петухов девятых
и русский мой язык чтоб вынесли к столу

все больше танцев нет прости меня родная
на обороте медленно прочти
вся жизнь моя как та переводная
картинка вот и выцвела почти

вспоминать с друзьями об обидах
и смотреть на половодья синь
где бы не был мой последний выдох
в лучшей из оставшихся россий

ясная моя когда потеря
по какому городу шаля
я увижу твой высокий терем
краденого хрусталя

гонит ветер нарочный с алтая
снежной пряжи белую паршу
там где ты смеялась золотая
там дыра какой не залатаю
и тоска какой не погашу

В маленьком магазине
около моего дома
живые бутылки стоят, друг к другу прижавшись;
там много продуктов мёртвых, свежих,
но только бутылки живые,
разных размеров, а следовательно
и живые по-разному;

заходит живой человек,
стоит за мной в очереди,
кладёт деньги на блюдечко и говорит что-то,
и, пока продавщица уходит в подсобку, —
он тянется к живым бутылкам;
а она ему приносит его бутылку, самую живую;

она шевелится в её руках,
она плачет, она достаётся живому человеку,
и продавщица смотрит на него недобро,
ведь нечего с него больше взять, —
и он уходит, —
и становится всё меньше в магазине живого, —

и вот уже совсем ничего живого,
только бутылки живые,
только я и продавщица —
но мы мёртвые,
и в чёрном пакете моём тоже
ничего живого.

Чудо — это когда идёшь ты
по Симферопольскому вокзалу
и хочется тебе какой-нибудь пирожок,
и голос раздаётся призрачный,
и миражи электричек движутся
медленно и беззвучно,
и троллейбусы подкатывают бесшумно
с их фантастическими ценами
и неживыми пассажирами,
и кажется, дотронешься до кого-нибудь
в зале ожидания — а он тут же исчезнет.
И думаешь: где же Он, раз Он есть?
А к тебе подходит кто-нибудь и говорит:
хочешь какой-нибудь пирожок?

Узнать бы, где хранится
этот золотой ключик,
у какой черепахи,
в каких краях.
Покорить этажи, лестницу,
открыть замок, люк,
проникнуть на чердак, на крышу —
заняться там успокоением антенн:
застывать в тех же позах,
играть с ними в «море волнуется раз»,
превращаться в морские фигуры, замирать.
А когда антенны успокоятся,
когда волны перестанут,
когда сигналы прекратятся —
вот тогда глядеть с крыши,
видеть и слышать всё:
как ругаются по телефону с телевизионными компаниями,
как выходят на улицу растерянные,
потерявшие последнюю надежду, люди;
как выбрасываются в распахнутые окна
никому не нужные боле
программы телепередач.

Хвойный аромат,
оранжевый и серебряный.
Морозно-ватный
трепет колокольчиков.
О — разноцветные кружочки,
нетерпеливые вы, пузыри.
И вот он —
тёплый свет красной звезды.

Хочется
купить стиральную машину,
просы́пать на́ пол
голубоватый порошок
и — сидеть, глядеть,
как коловращаются себе
там, в круглом на этот раз
окне
(в тёплой воде),
простые мои вещи.